
АРФА МИДА
ХОЛОД НЕБЛАГОГО ДВОРА
18+

Арфа Мида

Холод Неблагого Двора

«Автор»
2026

Мида А.

Холод Неблагого Двора / А. Мида — «Автор», 2026

Мира не верила в фейри — до той ночи, когда осталась одна в пустой квартире, с остывшей курицей на столе и разбитым сердцем, и стала повторять в подушку: «Фейри на свете есть». На её зов пришёл не добрый дух. Пришёл Повелитель Неблагого Двора — в короне из чёрного стекла, с ледяными пальцами и без всякого интереса к её желаниям. Одно прикосновение, и на её руке остаётся метка долга: теперь она принадлежит ему, а портал за спиной закрылся. В его мире нельзя есть, нельзя благодарить, нельзя называть своё имя — и нельзя верить никому, кроме того, кто тебя забрал. Он не берёт силой и не умеет любить. Она не умеет молчать. А между ними — долг, который не снимается ни огнём, ни чужой властью, и война, которая уже идёт.

© Мида А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Фейри на свете есть 6
Птичка 12
Не гостья 18
Т 25
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Арфа Мида
Холод Неблагого Двора

Фейри на свете есть

Вообще-то я работаю ночами. Кафе небольшое, на три столика у окна и два в глубине, с кофемашиной, которой всё это надоело ещё в прошлом году, судя по тому, как она гудит, и с вечным запахом жареной картошки. Ночная смена с одиннадцати до семи: пока город спит и пьяные не начинают петь, платят больше, а днём у меня пары, заказы, чужие курсовые и свои рисунки, которые я всё время откладываю на потом. Сплю я после пар, часа три, и считаю, что мне хватает.

Но сегодня я поменялась сменами. Отдала свою ночь Костику, взяла его день и наврала напарнице, что иду к врачу, и продержалась эта ложь минуты три. Сказать правду, что я выторговала себе смену ради ужина с парнем, почему-то стыдно: у меня двадцать лет, я полгода живу с мужчиной, а краснею, как в пятнадцать, когда впервые соврала, что иду к подруге, а сама шла в кино.

— К врачу она идёт, — напарница вытирает соседний стол тряпкой и смотрит на меня через плечо. Она старше меня лет на десять, работает здесь с тех пор, как я себя помню, и знает про всех всё. — К какому, если не секрет?

— К хорошему.

— Понятно. — Тряпка шлёпается в ведро. — А платье под фартуком у тебя потому что врач такой красивый?

Я не выдерживаю и смеюсь.

— Годовщина у нас. Год.

— О-о, — она вытирает руки о фартук и садится напротив, хотя в зале сидят двое с ноутбуками и один дед с газетой. — Год — это серьёзно. А он помнит?

— Помнит, конечно. Он с утра писал.

Это правда. С утра мне пришло короткое «с годовщиной, солнце», с двумя сердечками, и я полдня хожу с этим «солнцем» внутри, как с горячей картошкой в кармане.

— Ну-ну, — говорит напарница без всякой веры. — В моей жизни все мужчины на годовщины дарили носки. Один подарил мультиварку.

— Может, и мне мультиварку.

— Мультиварка, между прочим, полезнее, чем цветы. — Она уходит к стойке, а я достаю телефон. Лизе я пишу сразу. Мы с ней познакомились на первом курсе, в аудитории, где было нечем дышать. С тех пор сидели рядом на всех лекциях. Она смеялась над моими рисунками, таскала меня на выставки, а один раз всю ночь просидела со мной, когда мне было совсем плохо и я боялась оставаться одна.

«Привет. Ты сегодня свободна?» — пишу я.

«Сижу над проектом, — отвечает она через минуту. — Голова не варит, но надо. А что?»

«Да так. Соскучилась».

«И я. Завтра увидимся, не грусти)»

Я ставлю сердечко и убираю телефон.

В кафе утром всегда одно и то же: запах мокрой тряпки, гул холодильника, три столика у окна с видом на дорогу и на ларёк с шаурмой, у которого к обеду выстраивается очередь. Салфетки опять кончились, и я вытаскиваю из-под стойки новую пачку.

Дед с газетой сидит у окна с самого открытия. Пальто, шляпа, газета под мышкой, и так каждый день, кроме воскресенья. Я подхожу к нему первой.

— Милочка, как обычно.

— Кофе и сырники?

— И не жалей сахара. Я не диабетик, я проверялся.

Дальше идёт поток. Двое из офиса напротив берут по двойному эспрессо и не смотрят друг на друга. Студентка с рюкзаком ест сырники стоя, потому что все столы заняты. Курьер в жёлтой куртке просит воды и просиживает двадцать минут над телефоном, а потом убегает, оставив на столе перчатки, и я кладу их на стойку, чтобы он вернулся.

К двенадцати обычно набегает так, что некогда выдохнуть. Я ношу поднос, держу в голове три заказа, вытираю столы и улыбаюсь людям, которые этого не замечают. Всё, что у меня есть, — это десять метров между кухней и окном, чаевые в банке из-под кофе и мысли о вечере, которые я перебираю, как чётки.

— Девушка! — Женщина за столом у окна поднимает руку, даже не повернувшись. На коленях у неё лежит открытый ноутбук, рядом остывает салат. — Девушка, можно латте?

— Конечно.

— Только без пенки. И без корицы. И, если можно, не горячий.

— Не горячий — это как?

— Тёплый. — Она смотрит на меня, как на таблицу умножения. — Такой, чтобы пить сразу, а не ждать.

— Сделаю.

Я делаю. Через минуту она поднимает руку снова.

— Девушка, он недостаточно тёплый.

— Вы же просили не горячий.

— Я просила тёплый, а не холодный. — Она вздыхает, как человек, которому очень тяжело живётся среди непонимающих. — Ладно, оставьте.

Напарница подходит сзади и говорит вполголоса, у самого моего уха:

— Не спорь. Такие платят не за латте, а за то, чтобы было кого построить.

— Я не спорю.

— Ты вздыхаешь. По лицу видно. — Она подталкивает меня локтем. — Иди покури, я пока за стойкой.

Курить я не иду. Мне нельзя выходить: в такое время смену не бросаешь.

В шесть я снимаю фартук, вешаю его на крючок и выхожу на улицу. Уже темно, хотя вечер только начался. Фонари горят жёлтым, пахнет мокрым асфальтом, и где-то пекут вафли. Всю дорогу домой я перебираю в голове, что скажу, когда он войдёт: сначала сделаю вид, что обижена, хотя мне смешно, потому что он написал мне пару слов, а я весь день ношу их в себе; потом смилостивлюсь и налью вина.

Сегодня годовщина. Весь день я стою на ногах с подносом, а к вечеру пахну жареной картошкой и чужими чаевыми. Дома я первым делом лезу в душ, мою голову, переодеваюсь в другое платье, белое, то самое, которое он один раз назвал «ничего так», и подкрашиваю глаза. В зеркале на меня смотрит девушка: длинные каштановые волосы до пояса, голубые глаза, веснушки на носу и на плечах, которых я в двадцать лет всё ещё стесняюсь, и лицо человека, который репетирует, как будет счастливым. Я смотрю на неё и думаю: вот сейчас он придёт, увидит свечи, увидит меня, и всё встанет на место.

Вечером я мою бокалы до скрипа. Два тонких бокала на длинной ножке, из тех, что остались от матери, и я держу их за ножку, чтобы не оставить на стекле отпечатков. За окном стоит тёплая осень, какая бывает в Петербурге раз в год и всегда не вовремя: конец октября, днём тепло, к ночи холодно, а к утру всё это превращается в туман, в сырость и в мокрый асфальт. Луна висит над крышей соседнего дома, большая, белая, и света от неё в кухне хватает, чтобы не включать лампу. Я всё равно не включаю. В темноте видно только край стола и стекло в моих руках, и больше ничего не нужно.

Мать умерла за год до моего поступления. Квартира осталась мне целиком, и я обхожу её каждый вечер, как обходят чужую: две комнаты, кухня в четыре шага, коридор с продавленным паркетом, который отзывается под ногой в одном и том же месте, и запах старого дерева. Я

тогда думала, что не останусь здесь. Считала деньги, искала комнату ближе к институту, представляла, как вынесу эти бокалы в коробке. Потом поняла, что идти некуда, и осталась.

Год назад мы с ним начали встречаться. Не потому, что он был красивый и накачанный, хотя он был и то и другое, и не потому, что он умел смотреть так, что в комнате оставалась только я. Просто он был рядом. Он появлялся вовремя, держал за руку, приносил из доставки чужую еду и мою, и в ту зиму, когда мне хотелось лежать лицом в подушку и не вставать, он вытащил меня сначала в кино, потом на Невский, потом к себе на диван смотреть фильм, который мы оба не запомнили.

Кроссовки Вадима стоят в коридоре, сорок пятого размера, и я вечно о них спотыкаюсь. Он переехал через полгода после того, как мы начали встречаться, принёс две сумки, гантели и коробку с протеином, и в шкафу сразу стало тесно.

Курицу я ставлю в духовку в начале седьмого. К семи он должен быть дома: его смена заканчивается в шесть, от склада до нас двадцать минут на машине, он всегда приезжает мокрый, злой и голодный. В семь его нет. В половине восьмого тоже.

Я звоню. Длинные гудки, потом голос в трубке, вежливый и чужой: «Абонент не отвечает или временно недоступен». Я пишу: «ты где?». Кладу телефон на стол экраном вверх и уставляюсь на него, как на чайник.

Потом набираю Лизу. Тоже не берёт. Я смотрю на часы: полвосьмого. Человек, который сидит над проектом, в принципе может не брать телефон, если у него руки в макете. Я и сама так делала сто раз. Я пишу ей: «ты где?» — и стираю, потому что это звучит как допрос. Пишу: «если увидишь Вадима — скажи, чтобы позвонил». И это стираю тоже.

Я жду.

Я мою посуду. Чашки, блюдца, ложки, всё, что накопилось за неделю, потом ещё раз то, что уже вымыла. Вода горячая, руки краснеют, и это единственное, что в доме сейчас тёплое. Вытираю стол, хотя он чистый. Складываю полотенце вдвое, потом вчетверо, кладу на место.

Через десять минут в чате с Лизой появляется «печатает…». Оно висит, наверное, минуту, а потом исчезает, и ничего не приходит. Я беру телефон в руки, смотрю на экран и кладу обратно. Я не знаю, что это значит.

В восемь я накрываю на стол. Достаю вино, то самое, дешёвое красное, с пробкой, которую приходится выковыривать ножом, и оно стоит открытым, чтобы подышало, хотя гостей, которые в этом разбираются, мы не ждём. Курица подгорела с одного бока. Я переворачиваю её, ставлю на блюдо и накрываю полотенцем, и полотенце сразу становится пятнистым.

Свечи зажигаю сразу после. Они короткие, в жестяных формочках, я купила их в магазине по акции, три штуки, и оплывают они быстро, как оплывает всё, что покупают по акции. Зато пока горят, на столе держится маленькое жёлтое пятно, а всё остальное остаётся в темноте.

В девять я звоню ещё раз. В половине десятого — ещё. К одиннадцати я уже выучила наизусть, с какой интонацией тётя в трубке говорит про «временно недоступен».

— Ну и где тебя носит, — говорю я вслух, в пустую кухню, и голос у меня получается не злой, а жалкий, и я сама от него морщусь.

Стол я не убираю. Торт я не купила: думала, успеем вместе, он любит «Наполеон», а в круглосуточном на углу после одиннадцати остаются только вафли в глазури. За вафлями я и иду. В четверть двенадцатого я накидываю куртку, сую ноги в туфли, ищу ключи, нахожу их в кармане куртки, хотя клала на полку, и выхожу, потому что сидеть уже невозможно. Дверь я прикрываю осторожно, чтобы никто не услышал и не остановил.

Луна светит прямо в лестничную площадку, на подоконнике между этажами лежит чья-то забытая перчатка, и я почему-то запоминаю её: серая, детская, с растопыренными пальцами.

Я могу вернуться. Могу подняться наверх, сесть за стол со свечами и ждать, пока он придёт. Но я иду дальше.

* * *

Магазин в другую сторону, но я сворачиваю к парковке. Сама не знаю зачем. Может, просто хочу посмотреть на его машину и убедиться, что она стоит, что он вернулся, что всё в порядке и я дура.

Машина стоит. Тёмная, пыльная, с прилипшим к заднему стеклу листом. Рядом, у самого подъезда, под фонарём, стоят двое.

Я узнаю его сразу, по спине, по тому, как он сунул руки в карманы куртки и чуть покачивается с носка на пятку, тяжело, мерно, так качаются люди, которым холодно, но уже настолько всё равно, что шевелиться не хочется. Вторую я узнаю позже, чем следовало. Светлые волосы, короткая куртка, узкие джинсы, каблуки, на которых по мокрому асфальту не устоять. Лиза.

Они говорят тихо, но в этой тишине, когда во дворе не лает ни одна собака, слышно всё.

— Ты мне это уже неделю говоришь, — Лиза держит руки скрещёнными, и голос у неё ровный, как у человека, который давно решил и ждёт только, когда остальные догонят. — «Разберусь», «объясню». Вадим, я не собираюсь прятаться по кустам, как школьница.

— Я и не прошу прятаться, — он не поворачивается к ней, смотрит куда-то в асфальт. — Я прошу подождать.

— Сколько?

— Немного. — Он говорит это в асфальт, не поднимая головы.

— Ты её жалеешь.

— Я её люблю, — говорит он, и это хуже всего, потому что он говорит это спокойно, без надрыва, как говорят правду, которую сам себе уже объяснил. — И тебя. Не надо сейчас.

Лиза коротко смеётся, и смех получается сухой, злой.

— Так не бывает, чтобы обеих.

— Бывает, — говорит он. — Я разберусь и объясню ей. Про нас с тобой. Всё объясню, только не сегодня.

— А когда? — Лиза перекладывает сумку с одного плеча на другое, и в этом движении столько усталости, что мне даже становится её жалко, а потом перестаёт. — Вадим. Я тебя не тороплю. Я просто спрашиваю: когда?

— После праздников.

— Каких праздников?

— Никаких. — Он выдыхает. — Я не знаю.

— Вот и я не знаю, — говорит она. — Я, между прочим, к тебе не в гости хожу. Меня весь курс уже спрашивает, что у нас с Мирой происходит. Скоро начнут спрашивать, почему я к тебе на работу езжу.

— Никто не начнёт.

— Начнут. — И он наконец поднимает на неё глаза.

Она замолкает, и в тишине слышно, как в машине Вадима тихонько играет радио, приглушённое до шёпота.

Я стою за мусорными баками и держу ладонь у рта, дышу через пальцы, коротко, в три счёта: мне кажется, что меня выдаст дыхание. Сердце колотится где-то в горле, во рту становится сухо и металлически.

Я могу уйти. Могу вернуться домой, к оплывшим свечам и остывшей курице, и дождаться, пока он войдёт и соврёт мне красиво, и, наверное, я бы поверила, потому что очень хочу верить. Год. Год — это мало, если считать в днях. Если считать по тому, сколько раз он держал меня за руку, — очень много.

Я выхожу из-за баков.

— Не надо ничего объяснять, — говорю я. — Я всё слышала.

Они оба оборачиваются так резко, что у Лизы дёргается сумка, а Вадим отшатывается, как от удара по лицу. У Лизы даже рот приоткрывается, и на секунду она становится просто хорошенькой испуганной девчонкой, а не стервой, какой я её знаю.

— Мир... — Вадим шагает ко мне.

— Сегодня ты здесь не ночуешь, — я говорю тихо, и голос не дрожит, и это самое странное. — За вещами приедешь завтра. Я соберу.

— Мира, подожди, — Лиза отлепляется от машины. — Давай поговорим, мы же не враги.

— Мы? — я смотрю на неё. — Мы с тобой — нет. Ты в моей жизни была подругой, а теперь тебя тут нет.

Вадим что-то говорит, быстро и много, я не разбираю слов, только его голос. В этом голосе столько вины и столько уверенности, что вина кончится сразу, стоит ему всё объяснить. Мне хочется засмеяться. Я разворачиваюсь и иду к подъезду, и каблуки у меня стучат по асфальту, и я специально иду медленно, чтобы это выглядело как решение, а не как побег.

За спиной хлопает дверца машины. Потом ещё раз.

На подоконнике между первым и вторым, где лежит забытая серая перчатка, я сажусь, и тут меня накрывает. Не слёзы, а холод, сразу весь, от ладоней до затылка, и вслед за холодом слёзы, частые и злые, и я закрываю рот ладонью, чтобы соседи не слышали, как я вою.

Под окнами заводится мотор, потом стихает. Я не смотрю, чья это машина.

* * *

Я сижу на подоконнике, пока внизу не становится тихо. Потом встаю, вытираю лицо рукавом и иду наверх. Ключ в замке поворачивается с третьего раза, как всегда.

Квартира встречает меня запахом горелой курицы. Свечи на столе оплыли до жестяных донышек, одна погасла, две ещё горят, и от них в кухне ровно столько света, чтобы видеть края предметов и не видеть середины. Я не включаю лампу. Сбрасываю туфли в коридоре, снимаю куртку, бросаю на стул, беру с полки блюдце под окурок, сажусь и закуриваю в форточку, и дым идёт вверх, в чёрное небо.

На столе стоит всё, что я приготовила для счастья: два бокала, вино, блюдо под полотенцем. Я наливаю себе первой, второй бокал не трогаю.

Телефон вибрирует.

«Мира, открой, пожалуйста. Я на улице. Нам надо поговорить».

Я смотрю на эти буквы, пока не гаснет экран. Потом он загорается снова.

«Я знаю, что виноват. Просто дай мне объяснить».

И ещё, через минуту:

«Я не уйду, пока ты не выйдешь».

Я думаю, что это очень в его духе: стоять под окнами, быть честным и ждать, и чтобы всё решилось само, только открой.

От Лизы приходит в это же время. Одно слово.

«Прости».

Я читаю его и думаю, что в этом слове нет ничего, кроме самой Лизы: она всегда так извинялась. Коротко, без объяснений, и в её «прости» есть только жест: бросить монетку в фонтан, чтобы стало легче ей, ане тому, кого она задела.

Потом приходит ещё одно сообщение:

«Я не хотела, чтобы ты так узнала. Правда».

Я набираю: «А как ты хотела?» — и стираю. Набираю: «Не пиши мне больше» — и стираю тоже, потому что это значит, что я жду, что она напишет. Открываю её профиль, смотрю на фотографию с моря, где мы обе смеёмся и у неё облупился нос, и закрываю. Потом нажимаю «заблокировать». Палец задерживается на секунду, и я нажимаю.

Телефон звонит. На экране «Вадим». Я выдерживаю все шесть гудков, а потом нажимаю «отклонить» и выключаю звук совсем.

Я затягиваюсь так, что кашляю, и кладу телефон экраном вниз.

— Прости, — говорю я вслух, в темноту. — Прости.

Вино тёплое, оно пахнет не виноградом, а пробкой и немного уксусом, и я пью его большими глотками, как воду после бега. Второй бокал я всё-таки наливаю и выпиваю, а потом оказывается, что и бутылка почти пустая. Курица так и остаётся под полотенцем.

В груди давит, и не проходит. Это как камень в кармане, который всё время напоминает о себе, когда ты идёшь.

Я снимаю с полки книгу. Старая, в мягкой обложке, про фейри. Не про добрых фей с крылышками, а про тех, что живут под холмами, торгуются, забирают детей и никогда не говорят всей правды. Там даже написано, чем их можно убить: холодным железом, и то не с первого раза. Я читаю её, наверное, в пятый раз. И там как раз то место, где герой наклоняется к героине и говорит ей что-то такое, отчего у неё внутри становится жарко, и я всегда на этом месте на секунду закрываю глаза и представляю, что это про меня.

Сейчас я дочитываю до половины его фразы, закрываю книгу и обнимаю её, как обнимают подушку в детстве.

Свечи на кухне гаснут обе сразу.

Я гашу окурок о край блюдца и встаю. Колени слабее, чем я думала. Свет в комнате не включаю, иду на ощупь, держусь за стену, обои холодные, а под ладонью нащупывается выключатель, и я его не трогаю. Прохожу мимо шкафа, мимо гантелей, которые он оставил в углу.

И тут я вспоминаю фильм. Старый, из тех, что показывали в детстве по телевизору, когда за окном было темно, а в комнате горел торшер. Про Питера Пэна. Там была сцена, где фея умирает, и, чтобы она ожила, все дети должны были сказать, что верят в фей. И они скандировали это хором, и я скандировала вместе с ними, хотя была уже большая и понимала, что это кино.

Я думаю: если они оживали от того, что в них верили, значит, кто-то верил и в это. Значит, где-то есть те, кто слышит, когда их зовут.

Я ложусь на диван, не раздеваясь, утыкаюсь лицом в подушку и сквозь слёзы, которые уже почти кончились и остались только всхлипы, начинаю повторять:

— Фейри на свете есть.

Я говорю это шёпотом, чтобы не слышали соседи.

— Фейри на свете есть.

И ещё, и ещё, пока язык не становится деревянным и слова не начинают разваливаться на части.

— Ну появитесь. — Я уже не понимаю, что говорю и кому. — Ну пожалуйста. Появитесь здесь.

Я не молюсь. Я вообще не знаю, как молятся. Я просто прошу и повторяю одно и то же, пока во рту не становится сухо, а голова не тяжелеет и мысли не плывут медленно и путано.

Птичка

Ветер врывается в комнату сразу весь. Не сквозняком, не струёй из щели: кто-то распахнул невидимую дверь и впустил улицу внутрь, и она проходит по комнате, сдёргивает с окна тюль, швыряет на пол листы с моими рисунками, звякает в кухне бокалами и хлопает форточкой так, что дребезжит стекло.

Становится холодно. Сначала просто холодно, как бывает в октябре, когда отопление ещё не дали, а потом резко, до боли, до судороги в пальцах. У меня ноют зубы. Я чувствую, как холодеет мокрое от слёз лицо, как стягивает кожу на скулах, как немеют кончики ушей, и думаю: это сквозняк, надо встать и закрыть окно, только встать почему-то нельзя.

Я сажусь на диване так резко, что в шее что-то дёргает. Открываю глаза и не вижу ничего.

Полная темнота. Не та темнота квартиры, к которой привыкаешь через минуту, а плотная, тяжёлая, без единого угла, без единого окошка, сквозь которое сочится свет с улицы. И тишина. Не слышно ни машины, ни лифта, ни соседа с телевизором за стеной. Только моё дыхание и кровь в ушах.

В такой темноте начинаешь слышать своё тело. Сердце колотится где-то в горле, потом в висках, потом в пальцах. В горле сухо и шершаво, как после чужого табака. Язык прилипает к небу. И ты сидишь и ждёшь, что в углу кто-то есть, потому что в детстве тебе всегда казалось, что в углу кто-то есть, и теперь ты уже взрослая, тебе двадцать лет, ты не веришь в это, и всё равно смотришь в угол.

Я смотрю в угол. Угол есть.

Я спускаю ноги с дивана и сразу поджимаю их обратно. Пол ледяной, как лёд на Неве в январе. Я успеваю подумать: этого не может быть, у нас тёплый пол, Вадим его чинил, там пробка вылетела, он обещал вкрутить новую.

Мне хочется сказать что-нибудь вслух, чтобы услышать человеческий голос, хотя бы свой, но я боюсь: вдруг в этой темноте на мой голос кто-нибудь отзовётся.

В комнате напротив дивана начинает просвечиваться свет. Не включается, а именно начинает просвечиваться, как если бы в воздухе проступила белая точка, за ней вторая, третья, и они расползаются, слипаются, вытягиваются в овал, и овал становится ярче. Меня прижимает к спинке дивана. Я хочу встать и не могу. Хочу закричать, и из горла выходит только хрип, тихий и жалкий, как у кошки, которой наступили на хвост.

Овал растёт. Он уже выше меня, выше двери, почти до потолка, и от него идёт такое сияние, что становится видно комнату: мои рисунки на полу, мои книги на полке, кружку на подоконнике с недопитым чаем. Я смотрю на всё это как на чужую квартиру. И ещё я смотрю на свои босые ноги, на поджатые пальцы, на то, как они дрожат, и почему-то именно это невыносимее всего.

Потом вспышка. Ослепительная, белая и беззвучная: моего крика в ней не слышно. Я закрываю лицо руками.

Когда я их опускаю, в комнате уже не одна.

Из света выходят они, и их немного. Четверо. Я успеваю сосчитать и тут же жалею, потому что четверо — это не толпа, которую можно уговорить себя, что она тебе привиделась. Четверо — это когда каждого видно отдельно.

Первый выходит боком, длинный и тощий, плечи выше моей головы, в тёмном камзоле с высоким воротником. Голову он держит чуть вбок, слишком сильно, и не поправляет её, будто шея у него сломана и он этого не замечает. Волосы жидкие, собранные в хвост, а на поясе висит нож. Не кинжал, не клинок с камнями, а обычный кухонный нож, только длинный, и от этой обычности мне становится страшнее, чем от всего остального: значит, они режут. На

голове у него колпак, красный, тёмный по краю, и я сначала думаю, что это краска, а потом перестаю думать.

Второй ниже, но хуже. У него длинные острые уши, торчащие сквозь волосы, и руки, свисающие ниже колен. Пальцы не кончаются, а всё тянутся и тянутся в темноту, и я не могу сосчитать, сколько в них суставов. Он стоит в двух шагах, и пальцы у него шевелятся сами по себе, в воздухе, как щупальца: что-то ищут на ощупь, ещё не решив, что именно.

Третья — женщина. Высокая, тонкая, в платье, которое держится на ней без застёжек и без лямок. Волосы у неё чёрные, длинные, и в них что-то живёт: они шевелятся там, где нет ветра, и я не смотрю, что именно шевелится, я смотрю на её лицо. Она улыбается мне одними губами и чуть наклоняет голову, как наклоняют её, когда слушают ребёнка.

Четвёртый горбат. Он самый маленький, ниже всех, и держит перед собой поднос. Руки у него мохнатые, как у зверя, и пальцы на них человеческие. На подносе стоит чаша, и в чаше что-то тёмное, густое, и оно блестит, когда он переступает с ноги на ногу. На меня он не смотрит вообще, только на чашу, и от этого мне тоже страшно.

Пахнет от них не серой и не дымом, как пишут в книгах. Пахнет мокрой землёй и сладким, приторным, как сирень в мае, которая уже начала гнить. И ещё чем-то острым, чуть металлическим: под сладким лежит что-то, что надо скрыть.

Я сижу на диване, вцепившись обеими руками в подушку, и стараюсь дышать через раз, потому что каждый вдох отдаёт в горле холодом. Страх у меня не в голове. В голове как раз тихо, там даже мысли стоят на месте и не двигаются. Страх у меня в руках: пальцы вцепились в подушку и не разжимаются, и я понимаю, что не разожму их, даже если прикажу себе. В животе пусто и легко, до тошноты, до того, что меня сейчас вывернет наизнанку. Колени дрожат мелко-мелко, и я прижимаю их друг к другу, чтобы этого не было видно, хотя кому здесь это смотреть. И где-то под всем этим, в самом дальнем углу, вялая и глупая мысль: я уснула. Я уснула с книжкой на груди, начиталась своих фейри на ночь, и сейчас я проснусь, и в кухне ещё будут гореть свечи.

Они расступаются. Медленно, нехотя, и не просто расступаются: все четверо наклоняются в его сторону, женщина тоже, а горбун опускает поднос ниже, чтобы чаша не оказалась выше его головы.

Сзади них идёт он.

Сначала я чувствую его раньше, чем вижу. Шагов не слышно: пол под ним не скрипит, ни одна половица не отзывается, и от этого кажется, что он проступает из темноты, а не идёт. Движется он лениво, никуда не спеша, как ходят люди, для которых весь дом — одна большая комната и которые здесь надолго.

Высокий. Выше всех, кто в комнате, и не на волосок, а так, что приходится поднять голову. Невероятно красивый, и это обиднее всего, потому что я ждала чего-то другого.

На голове у него корона. Чёрное стекло, не металл, острая, с неровными зубцами, как осколки бутылки, поставленные на ребро, и в ней отражается свет из овала: то вспыхнет, то погаснет. Кажется, он в ней родился и никогда её не снимал.

Чёрные волосы, слегка волнистые, падают на лоб небрежно, и он их не поправляет. Из-под них выходит ухо, острое и длиннее человеческого, и я вижу его только потому, что он стоит вполоборота к свету. Плащ без застёжек, брюки, всё чёрное, всё плотное, и торс голый, как у человека, который вышел из бани и не боится ветра. Под кожей идут сухожилия, длинные, как канаты, и по ним видно, как он двигается: он идёт медленно, а тело работает всё, спокойно и очень сильно, без суеты.

На груди у него шрамы. Не порезы, не царапины, а огромные борозды, глубокие, розоватые, как вспаханное поле, и по ним видно, что их оставили не однажды и не случайно. Четыре, пять, шесть, и один, самый длинный, идёт от ключицы вниз, к рёбрам, и края у него как у

стянутой раны, которая плохо заживала. Я думаю: у человека так не заживает. У человека так не оставляют.

Глаза у него чёрные. Но не как зрачки, а как всё целиком: ни белка, ни радужки, просто две чёрные дыры в красивом лице. И глаза эти не блестят. Свет из овала бьёт ему в спину, обводит плечи, голову, край короны, а лицо остаётся тёмным: глаза не отражают ничего, свет просто уходит в них, как в шкаф. И он держится от света подальше: когда белое добирается до него, он отступает на полшага в тень.

* * *

Он подходит ко мне и улыбается. Улыбка зловещая, ехидная, широкая, и в ней слишком много зубов, или мне так кажется от страха.

Я сижу и не могу встать. Ноги не слушаются, руки не слушаются, всё тело чужое и деревянное. И воздух вокруг него другой: холодный, плотный, и от этого холода кожа на руках покрывается мурашками, и я чувствую, как затвердели соски под тонким платьем, и от одной этой мысли стыд становится сильнее страха.

Он останавливается в шаге от меня, склоняет голову набок, и корона на секунду перекашивается, но не падает.

— Кто это у нас тут? — Голос у него низкий, такой, что им можно придавить, и он его не поднимает, а наоборот, опускает, и от этого каждое слово ложится на меня сверху. — Что за птичка так жалобно звала меня и отвлекла от дел?

Я встаю. Медленно, упираясь ладонями в сиденье: колени подгибаются, я выпрямляюсь, качаюсь и всё-таки устаиваю. И смотрю на него. Смелости во мне нет ни капли. Просто сидеть перед ним хуже, чем стоять: сидя ты ниже, и он это видит.

Звук странный. Голос идёт не изо рта, а откуда-то изнутри, из грудной клетки, и от этого у меня под рёбрами тихо и вязко дрожит, как палочка по струне. Я не думаю о том, что надо отвечать. Я думаю о том, что от этого голоса у меня теплеет внутри, ниже пупка, и это так не вовремя и так глупо, что я почти сержусь на себя.

Он подходит ближе и встаёт сбоку, почти вплотную. Я слежу за ним глазами, не поворачивая головы, и он это замечает и улыбается шире.

Он пахнет не сиренью. От него пахнет чем-то очень старым и сладким: ладаном, старым вином, мёдом, который держали в серебре. Так пахло бы в храме, куда сто лет никто не заходил, а свечи всё равно горят. Красиво так, что хочется стоять и дышать, и от этой красоты страшнее, чем от когтей. Я ловлю себя на том, что вдыхаю этот запах, а не пытаюсь дышать.

— Что ты хотела от меня? — спрашивает он из-за моего плеча. — У тебя же было какое-то желание, когда ты меня призывала?

Я поворачиваю к нему голову. Он стоит так близко, что я слышу, как в нём движется воздух.

— Призывала? — выговариваю я. Голос дрожит, как последний лист на ветке, и я слышу себя со стороны и почти не удивляюсь, что он смеётся.

Он смеётся негромко. Это видно не по лицу, а по груди: шрамы поднимаются и опускаются, голова склоняется чуть ниже, и он медленно кивает сам себе. Смех у него бархатный, низкий, тёплый, и по комнате он расходится медленно, кругами по тёмной воде. Все четверо сзади разом шевелятся, как стая, когда рядом смеётся хозяин.

— Конечно, — он делает шаг и встаёт передо мной, лицом к лицу, ближе, чем был. — Я прихожу только на сильные просьбы. А твои… — он молчит, разглядывая меня, от босых ног до мокрого от слёз лица. — Твои выглядели как мольба.

Он наклоняется ко мне. Я хочу отступить, но за спиной диван, отступать некуда, и ноги подгибаются сами, я сажусь. Он опускается следом и упирается ладонью в спинку дивана, рядом с моей головой: я вжалась в неё затылком. Его лицо оказывается на одном уровне с моим, и он ведёт головой у моего виска, медленно, примеряясь. Потом ниже, к шее.

Не целует. Нюхает. Вдох долгий, тёплый, и от него у меня на шее поднимаются волоски. Он ведёт носом по коже, от уха вниз, до самой ключицы, и там, где он проходит, кожа горит, как обожжённая на солнце. Я слышу его дыхание у себя под челюстью, слышу, как он вдыхает ещё раз, глубже, и не отпускает. По позвоночнику у меня проходит холод, от затылка до поясницы, а внизу живота отзывается тяжело и тепло, и это хуже всего, потому что от этого не спрятаться.

— Плакала, — говорит он, выпрямляясь. — Вино, слёзы, дешёвый табак. — Улыбка. — И ещё что-то. Какая-то мышь грызла тебя внутри очень долго. — Он шевелит носом, принюхивается к воздуху над моей головой. — Горе. Знакомый запах.

Я отшатываюсь от него, вжимаюсь в диван, вбок, и натыкаюсь на длиннорукого. Он стоит почти вплотную, сбоку, и даже не смотрит на меня. Его пальцы, оказывается, всё это время тянулись ко мне, и теперь один из них лежит у меня на плече, лёгкий, сухой, и я сбрасываю его так, как стряхивают мышь.

— Не надо, — говорит он, не повышая голоса, и длиннорукий отступает, не поворачиваясь.

— Мне походу нужна психушка, — говорю я. Голос выходит хриплый, как будто я час кричала, хотя я не кричала ни разу. Я тру виски дрожащими пальцами, прикрываю глаза, и под веками всё равно стоят эти четверо. — Или я вина перебрала.

Я открываю глаза и смотрю на него.

Он начинает смеяться не сразу. Секунду просто смотрит на меня сверху вниз, и в чёрных глазах ничего не меняется, а потом у него дёргается уголок рта, и он уже не сдерживается.

Смех начинается не с губ. Сначала поднимается грудь, шрамы натягиваются, потом уголки рта расходятся в стороны, и только тогда выходит звук: низкий, бархатный, тёплый, и идёт по комнате до самых стен. Он смеётся долго, запрокинув голову, так что корона ловит свет и вспыхивает, и четверо за его спиной переступают с ноги на ногу и опускают глаза.

— Нет, — говорит он, отсмеявшись, и улыбается ещё шире, а глаза не улыбаются вовсе. — Психушка тебе не понадобится, птичка. Ты не сошла с ума. И ты не спишь.

— Я сплю, — говорю я. — Я легла на диван с книжкой, я…

— Ты лежала здесь час, — перебивает он. — И говорила. Тихо, чтобы не слышали соседи. — Он склоняет голову набок и говорит почти ласково. — «Фейри на свете есть». Раз пять. А потом попросила: появитесь здесь.

У меня стынет затылок. Я помню, как говорила это, помню каждое слово, но помню и другое: что говорила в подушку, в темноту, где никого не было.

— Откуда ты знаешь?

— Я пришёл на твой голос. — Он пожимает плечами, будто речь о погоде. — Так бывает. Зовут громко, зовут долго, и в конце концов кто-нибудь приходит. В этот раз пришёл я.

У меня в голове очень тихо и очень пусто. Мысли не толпятся, не мешают друг другу, а держатся поодаль и смотрят на меня, как чужие люди на остановке.

Я не верю ему. Или верю, но не до конца, не до той степени, когда можно перестать сидеть и дышать. Проще считать, что это сон, и я держусь за это, как за перила.

Я хохотну себе в ладонь, коротко, и мотну головой, как отгоняют от лица дым. Потом опускаю руку.

— Ну и пусть, — говорю я, и получается почти шуткой. — Пусть не сон. Тогда покажи мне свой мир. Всегда хотела оказаться в истории из своих книг.

Он смотрит на меня долго. И мне кажется, что в этой чёрной пустоте глаз что-то шевелится, какой-то интерес: я сказала не то, чего он ждал, и это ему приятно.

Он снова подходит. Теперь вплотную, так, что мои колени касаются его брюк, и я откидываюсь назад, а он берёт меня за подбородок.

Пальцы у него холодные. Вот это добивает меня окончательно: от него идёт лёд, как от могильника, и пальцы такие же, сухие и ледяные, и на коже от них не остаётся тепла. Он держит

меня за подбородок нежно и вместе с тем так, что понятно: могу сломать. И когти. Чёрные, длинные, загнутые, они лежат у самой кожи, и одно неверное движение — и они войдут в неё, и он даже не заметит. Я чувствую каждый, хотя он меня почти не касается.

Он поворачивает моё лицо налево, потом направо, рассматривая, как рассматривают монету, на которой стёрся рисунок.

— Маленькая, — говорит он тихо. — Смелая, глупая. Из такой дыры, где даже магия не работает, и просит у меня мир. — Его взгляд спускается от лица ниже, и там, где он смотрит, кожа под платьем отзывается почти болью. — Хочешь ко мне, птичка?

Я пытаюсь оттолкнуть его и упираюсь ладонями в грудь, в шрамы, и под пальцами тепло и жёстко, и я чувствую, как он напрягается, и смеётся.

— Так, — говорит он с интересом. — Птичка даже клюётся.

— Я не птичка.

— Нет? — Он наклоняется к моему уху, и шёпот не громче дыхания, но я слышу каждое слово, и щека от его голоса начинает гореть. — А кто ты, милая? Крошечная девочка, которая лежит одна в тёмной комнате, плачет и зовёт чудовищ? Чудовища пришли. Что ты им скажешь?

У меня перехватывает горло. Я ненавижу то, что он прав, ненавижу его руку на своём подбородке и то, что эта рука не противна, ненавижу, что у меня дрожат колени и не от страха.

— Ну раз это твоё желание, — он улыбается, — тогда пошли.

Он выпрямляется. Медленно, без усилия, как разгибается отпущенная ветка, и от этого становится ещё выше. На губах у него та же улыбка, широкая и довольная, и он смотрит на меня сверху вниз.

* * *

Потом протягивает руку.

Я смотрю на эту руку. Пальцы длинные, сухие, с чёрными когтями, и в белом свете видно, какие они блестящие. Надо сказать «нет». Надо отодвинуться. И в этот момент во мне говорит что-то очень маленькое и очень усталое: пусть заберёт. Пусть будет хуже. Хуже уже не будет.

Я беру его за руку. Ладонь сухая и холодная, и всё-таки человеческая: по размеру, по косточкам, по тому, как она сжимается.

И в ту же секунду от его пальцев по моей ладони идут чёрные нити.

Я вижу их отчётливо, в белом свете из овала: тонкие, блестящие, они идут под кожей, разбегаются, свиваются жгутом, как плющ, как корни, и ползут вверх по запястью, кольцо за кольцом.

И там, где они проходят, кожу начинает обжигать. Сначала это почти приятно, а потом нестерпимо, как обмороженное место, которое внесли в тепло. Я вскрикиваю и дёргаю руку.

Он держит крепко, не сжимая, как капкан: без злобы, без усилия, просто держит.

— Нельзя, — говорит он спокойно. — Взяла — так взяла.

Я начинаю вырываться, он не отпускает, и нити только крепче обхватывают. Он даже не смотрит на мою руку. Он смотрит мне в лицо, наклонив голову, корона на нём чуть поблёскивает, и в улыбке есть что-то такое, от чего я понимаю: это ему нравится.

Нити доходят до локтя и останавливаются. И остаются лежать на руке, обвив её до самого сгиба, ровным рисунком, как татуировка.

Боль проходит сразу, вся, оставив вместо себя холод, странную пустоту и тихое жжение в том месте, где заканчивается узор.

Он тянет мою руку на себя и делает шаг назад. Я встаю следом, потому что иначе рука не выдержит, и оказываюсь вплотную: колени в его колени, грудь почти в грудь, и приходится запрокинуть голову, чтобы видеть его лицо.

Я стою и дышу, как дышат после падения с лестницы: глубоко, часто, ничего не понимая.

Он поднимает нашу сцепленную руку к своему лицу, разворачивает мою узором к свету и смотрит на него, как смотрят на свою работу. Второй рукой проводит когтем по чёрным

линиям, самым краем, так, что не царапает, а только трогает. От прикосновения у меня сводит кисть.

— Красиво, — говорит он. — Тебе идёт.

— Что это?

— Это долг, милая. — Он опускает мою руку, но не отпускает. — Теперь ты должна мне.

И идёт к овалу, увлекая меня за собой.

Я упираюсь пятками в ледяной пол и дёргаю руку. Он не оборачивается и не тянет, просто идёт, и сопротивляться нечему: ноги всё равно идут за ним.

— Это же твоё желание, — говорит он на ходу.

Он сильнее. Сильнее двери, которую держишь, сильнее поезда, который отправляется, всего того, что живёт по своим правилам и о тебе не спрашивает.

Мы подходим к овалу вплотную. Свет заливает мне лицо, и я вижу, что там, за ним, нет ничего: ни комнаты, ни стены, одно белое.

Четверо стоят по сторонам, расступившись, и женщина с шевелящимися волосами наклоняет голову чуть-чуть вбок, показывает мне, куда я иду.

— Нет, — говорю я. — Я передумала.

Он останавливается. Поворачивает ко мне голову, и впервые за весь вечер мне кажется, что он смотрит на меня внимательно.

— Поздно, — говорит он. Спокойно, как говорят о том, что уже случилось.

Он обхватывает меня одной рукой, за талию, прижимает к себе, к шрамам, к запаху ладана и мёда, а второй не отпускает мою руку с узором.

Я успеваю увидеть свою комнату последний раз: лист на полу у дивана, тот, где я в семнадцать лет нарисовала лес и маленькую фигурку между деревьями, погасшие свечи на кухне за открытой дверью и луну в окне.

Его рука на моей спине холодная. Это последнее, что я чувствую.

Он делает шаг.

Потом белый свет накрывает меня всю.

Не гостья

Белый свет не кончается.

Он не вспыхивает и не гаснет. Он просто есть, весь сразу, тёплый и беззвучный, без верха и без низа, и в нём нет ни одной вещи, за которую можно взяться глазом. Я не падаю. Я вишу. Руки висят, ноги висят, волосы поднялись вокруг головы и стоят.

Потом я понимаю, что меня держат.

Его рука у меня под лопатками, вторая на талии. Я прижата к нему так плотно, что сквозь платье чувствую, как под кожей ходят его мышцы. Он не напрягается. Он держит меня так, как несут по лестнице вещь, которую не хотят уронить.

— Не хватай ртом, — говорит он мне в самое ухо.

Голос глухой, идёт откуда-то из середины, через толщу.

— Сейчас? — спрашиваю я и не узнаю свой голос.

— Сейчас. Через нос, до самого дна. Здесь воздух тяжелее: будешь дышать как там, станет больно.

Я не умею дышать иначе. Я тяну воздух, как тянула всегда, и он входит в горло и встаёт там. Густой. Тёплый. Я выдыхаю его обратно, тяну снова, и снова он не проходит дальше горла.

Я хватаюсь за его плечо. Кожа гладкая и ледяная, и холода в нём столько, что мои пальцы стынут. Я вцепляюсь крепче, обеими руками, в шрам, в мышцу, в камень под кожей.

Свет по краям темнеет. Не гаснет, а отходит, и я остаюсь одна с этим воздухом, который не идёт.

Я тяну ещё раз, сильнее, и в горле что-то щёлкает.

— Маленькая, — говорит он. — Не так.

Он перехватывает меня крепче, ближе к себе, и когти входят в кожу у меня на талии. Четыре сразу. Острые и горячие, и под ними расходится тепло, и я понимаю, что это кровь.

Больно так, что на секунду становится легче дышать. Я успеваю вдохнуть, неглубоко, половину, и тут же голова идёт кругом.

— Держись, — говорит он откуда-то сверху.

Я держусь. За плечо, за шрам, за этот камень под кожей. Рука разжимается сама, палец за пальцем, и я вижу, как она сползает, и ничего не могу с ней сделать.

Потом темно.

Это не та темнота, что была в комнате, и не обморок, в котором ничего нет. В этой темноте я ещё есть, но меня мало.

Земля бьёт меня по пяткам. Сразу, всей тяжестью, так, что отдаётся в коленях. Меня трясут за плечи, сильно, грубо.

— Глаза, — говорит он. — Открой глаза.

Я открываю.

Его лицо близко. В нём нет ни улыбки, ни насмешки: две чёрные дыры глаз и корона, которая в этом свете не стекло, а камень.

Второе — воздух. Он снова не идёт.

Я делаю вдох изо всех сил, всей грудью. Он входит, я уже радуюсь, и на выдохе грудь сжимает. Я хватаю ртом ещё и ещё, и каждый вдох даётся чуть легче, но до конца не проходит, и в ушах стоит тонкий звон.

— Тише, — говорит он. — Медленнее. Не всё сразу.

Я пробую медленнее. Получается хуже, но в голове чуть проясняется.

И тогда я поднимаю глаза.

Мы на холме.

Не на том, какие бывают под Петербургом, и не на любом другом, который я могла бы знать. Холм голый, трава под ногами чёрная, сухая, ломкая, вся в изморози; она хрустит, когда я переношу вес. Пар идёт у меня изо рта. Я дышу на ладони, и они не согреваются. Ветер идёт низом, стелется по земле, пахнет мокрой землёй, мёдом и чем-то ещё, что я уже слышала сегодня.

Неба почти нет.

Над нами не чёрное небо с луной, к которому я привыкла, и не звёздное. Над нами что-то тяжёлое, серое в чёрном, и в нём нет ни одной звезды, ни полоски света. Только с одного края, далеко, у самого окоёма, лежит бледная полоса. Кто-то забыл закат.

Всё вокруг чёрное. Холмы один за другим, голые, без единого дерева; между ними низины, в которых стоит туман; и ни одной живой вещи, кроме травы под ногами.

Я стою, держусь за его руку, потому что своей уже не чувствую, и дышу мелко, вполгруди.

— Где мы? — спрашиваю я.

Голос сиплый, чужой.

Он смотрит на меня сверху вниз, и когти у меня на талии всё ещё там, и по ним, тёплым, стекает.

— Там, куда ты просилась. — Он отпускает мою талию. — В моём дворе.

Я поднимаю голову.

За холмами, там, где лежала бледная полоса, теперь стоит туман. Не дымка, а стена, густая, и из неё проступает дворец.

Он чёрный. Не тёмный, а чёрный весь: стены, башни, шпили, тонкие и острые. На каждом конце остриё, загнутое вверх. Остриёв слишком много, и стоят они неровно, как зубы.

Окон не видно. Только в стенах горят узкие щели, красноватые, как угли в остывающей печи.

Он ближе, чем кажется. Стоит и смотрит на нас, хотя у него нет ни глаз, ни лица. Туман липнет к стенам и тянется от них к нам, стелется по траве, и трава под ним седеет.

Я стою на холме и смотрю на дворец.

За спиной у меня светлеет.

Я оборачиваюсь. Овал висит над травой там, где нас не было минуту назад, и он уже не белый: края потемнели, как остывающая ковка. Из него выходят.

Первым — длинный, боком, с ножом на поясе. Он сходит на землю, как сходят с последней ступеньки, и сразу отступает в сторону. За ним длиннорукий: его пальцы тянутся к траве, щупают её, пробуют на ощупь, и на меня он не смотрит. Третьей идёт женщина. Она не смотрит под ноги, и волосы у неё шевелятся там, где нет ветра. Последним выходит горбун с подносом, и чаша у него не расплескалась.

Четверо встают полукругом у меня за спиной, на расстоянии, и трава под ними не хрустит: ступают они иначе.

За горбуном овал сжимается, как зрачок, и гаснет. На его месте остаётся воздух, чуть тёплый.

Женщина наклоняет голову набок. Длиннорукий переступает с ноги на ногу. Никто из них не говорит ни слова, и от этого тише, чем было.

— Идём, — говорит он мне и идёт вниз с холма.

Я иду следом. Не потому, что согласна. Потому что если я не пойду, меня поведут.

Склон длинный. Трава под ногами не просто сухая, она режет: стерня, жёсткая, с колючками, а я босиком, в платье, и через десять шагов подошвы начинают гореть. Я не говорю об этом и иду дальше.

Он идёт впереди и не оборачивается. Плащ у него не шевелится, хотя ветер есть: ветер стелется низом, а плащ лежит на плечах, как вырезанный из камня.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я в его спину.

Он не отвечает. Ещё десять шагов, и ещё.

— Мне надо как-то тебя звать.

— «Мой повелитель» тоже подойдёт.

Он говорит это ровно, без насмешки, и от этого хуже, чем если бы он смеялся.

— Я не буду так тебя звать.

Он наконец поворачивает голову, и я вижу половину лица: скулу, угол рта.

— Тогда молчи, — говорит он. — Молчащая женщина здесь редкость.

Я всё-таки не молчу:

— Мне надо знать, кого проклинать.

Он смеётся, коротко, одним выдохом.

— Киран, — говорит он и идёт дальше. — Если тебе так не терпится.

Имя короткое и сухое, и оно странно ложится на язык: приходится сказать его про себя ещё раз, чтобы оно отпустило.

— А я Мира, — говорю я ему в спину.

Он не оборачивается.

— Знаю.

— Откуда?

— Ты меня звала. — Он не сбавляет шага. — Кто зовёт, тот себя называет. Даже если молчит.

Я иду за ним и думаю: я ведь не называла. Я говорила в подушку, в темноту, «появитесь», и ни разу не сказала, кто я.

— Сама попросилась, — говорит он на ходу. — Так что не кричи, когда не понравится.

— Не дождёшься.

— Пока.

Ветер бьёт мне в спину, и мокрое на талии становится холодным. Я трогаю платье: под пальцами липко, на белом расплылись четыре бурых пятна, и кровь ещё идёт, медленно, по капле.

— Я не думала, что кто-то придёт, — говорю я. — Когда просила.

— А кто-то пришёл. — Он не оборачивается. — Я же объяснял: зовут громко, зовут долго, и в конце концов кто-нибудь приходит. Пришёл я.

— И что теперь?

— Теперь иди и не отставай.

Впереди склон выравнивается, и начинается дорога. Она выложена чёрным камнем, гладким, как речная галька, и камни тёплые под ногами, хотя согреться здесь нечему.

Четверо идут за нами, я слышу их по траве, хотя подошвы у них не шуршат.

Дорога идёт вниз, потом вверх, и я сбиваю ноги раньше, чем мы доходим до стены.

Ворот как таковых нет. Есть стена, чёрная, без единого шва, и в ней створки, высокие, как три меня, поставленные друг на друга. По створкам идут тонкие узоры. Я смотрю на них и понимаю, что это не узоры, а лица. Много лиц, вдавленных в камень, и у каждого закрыты глаза.

Киран останавливается в трёх шагах и поднимает руку. Не касается створок, просто держит ладонью вперёд.

Двери расходятся без звука. Даже воздух не сдвигается.

И оттуда идёт музыка.

Она не одна. Там сразу много всего: струны, которые тянут одну ноту слишком долго, и что-то вроде флейты, и низкий бубен, от которого отдаётся в груди, под рёбрами. Мелодии нет. Есть движение, в которое всё это складывается, и оно не совпадает с тем, как я дышу.

* * *

Мы входим.

Зал огромный. Потолка я не вижу, только верхнюю темноту, в которой висят огни. Светятся не свечи, а сами стены: холодным, синеватым, как лёд на мелководье, и по ним идут красные жилы, тонкие, как трещины, и из них сочится свет. От этого света лица у всех кажутся мёртвыми. В зале холодно, как в погребе. У меня изо рта идёт пар, у них нет.

Танцуют.

Я не сразу понимаю, сколько их. Сначала вижу женщину в платье из перьев. Она танцует одна, обняв себя за плечи, и перья на ней не шуршат, хотя она кружится быстро. Потом вижу двоих с оленьими рогами, они идут по кругу друг за другом и не касаются пола.

А потом я начинаю различать остальных, и вот тут мне становится нехорошо.

Есть красивые. Слишком красивые. Один стоит у колонны, и лицо у него такое, что на него хочется смотреть, как на огонь: ровное, светлое, ни одной неправильной линии. Он замечает, что я смотрю, и поворачивает голову. Я вижу, что у него на затылке второе лицо. Оно спит.

Есть высокие, тонкие, как ивы. Волосы у них до земли, а в волосах горят огоньки. Они танцуют, и огоньки стоят на месте, хотя волосы летят.

Есть маленький, в бархате, с руками старика. Руки у него в перстнях, пальцы скрюченные, и он ест что-то из чаши, а глаза у него закрыты от удовольствия. Я не смотрю, что он ест. Я смотрю в сторону.

Есть такие, у которых во рту слишком много зубов, и они улыбаются, потому что им весело, и я не понимаю, почему.

А есть существа, на которые я не могу смотреть долго: они из веток и мокрой земли, и когда я пытаюсь разглядеть одно из них, у меня начинает болеть за глазом, и я отвожу взгляд.

У стен, в тени, держится мелочь. Сначала я принимаю их за детей, потом вижу лица: горбатые, в колпаках, красных, как отжатая мокрая тряпка. Один бормочет что-то себе под нос, второй смеётся над ним шёпотом, и у него во рту не хватает зубов, зато есть два лишних. Под столами кто-то ползёт на четвереньках и собирает с пола крошки.

А у колонны стоит существо с лошадиной головой и человеческим телом. Когда я прохожу мимо, оно поворачивает голову назад, дальше, чем может человек, и тихо ржёт, и звук идёт у него из горла, как из воды.

От них пахнет мёдом и мокрой землёй, вином и чем-то ещё, тёплым и сладким, и от этого запаха пересыхает во рту.

Музыка не стихает. Но когда Киран делает первый шаг в зал, танцующие начинают оборачиваться.

Не все сразу. Сначала те, кто ближе. Потом дальше, дальше, и вот уже весь зал смотрит на нас, а музыка всё тянется, тянется, и никто не перестаёт танцевать, хотя все смотрят.

Они кланяются. Не низко, коротко, головой, как кланяются тому, кого не хотят злить. Женщина в перьях кланяется и не отрывает глаз от моего платья.

Я вспоминаю про кровь. Пятна на белом, четыре, бурые, и все это видят.

Киран идёт вперёд, и зал расступается перед ним.

Я остаюсь на пороге.

Не решаю остаться. Просто ноги дальше не идут. Пол в зале гладкий и чёрный, по нему скользят тени, хотя никто из танцующих не касается пола. Я смотрю на них, и в голове у меня одна за другой всплывают старые книжки: там нельзя есть, нельзя пить и нельзя танцевать, а если станцуешь, то останешься.

Он замечает не сразу. Проходит несколько шагов, и только тогда оборачивается.

Музыка не останавливается, но становится глуше, тише, и танцующие отступают к стенам.

Он возвращается. Не бегом, а так, как возвращаются за вещью, которую забыли.

— Почему стоишь?

— Я не пойду туда.

Он смотрит на меня сверху вниз. Лицо спокойное, и от этого спокойствия у меня холодеет в животе.

— Ты уже вошла. Двери за тобой закрылись.

— Какие двери?

— Портал. — Он кивает мне за спину. — Он закрылся, как только мы все вышли. Обратно он не откроется.

Я не оборачиваюсь. Я и так знаю: за спиной у меня больше нет ветра, и воздух там ровный, тёплый и пустой.

— Я не пойду, — говорю я ещё раз, и голос дрожит.

Он берёт меня за руку, за запястье. Не грубо. Я успеваю подумать, что сейчас он будет уговаривать.

Он не уговаривает. Дёргает на себя так, что я срываюсь с порога, и швыряет на пол.

Зала я не слышу. То есть слышу, но как через воду: музыка, шелест, чей-то смех — короткий, из середины зала.

Пол гладкий и тёплый. Я падаю на ладони и на колени, и ладони скользят, и я проезжаю немного, и останавливаюсь.

Передо мной его брюки и босые ступни, в двух шагах, и я смотрю на них, потому что поднять голову страшнее.

Он стоит и ждёт. Потом говорит, ровно и негромко, так, что слышно только мне:

— Те, кто сюда попал, обратно не возвращаются, — говорит он. — Ни через год, ни через сто. Так что встала и пошла.

Я не отвечаю: в горле сухо, и слова не идут.

А зал уже шепчется.

Сначала один голос, потом второй, потом шёпот идёт по кругу, как ветер по траве:

— Человек. Человек. Человек.

Я поднимаю голову. Они стоят вокруг и не танцуют. Ближе всех тот, с рогами. Он смотрит на меня и улыбается.

И тут меня хватают за волосы.

Не за плечо и не за платье: пальцы входят в волосы у самого затылка и тянут так, что я вскрикиваю и подаюсь назад.

Это он, тот, с рогами. Я вижу его руку: тонкую, серую, с длинными суставами.

— Нельзя, — говорит Киран.

Негромко. Даже головы не поворачивает.

Пальцы разжимаются сразу. Я падаю обратно на ладони, и волосы падают мне на лицо, и кто-то в толпе шипит.

— Она моя должница, — говорит Киран, и теперь говорит так, чтобы слышал весь зал. — У неё моя метка на руке.

Тишина. Не та, когда молчат от страха, а другая: все смотрят и ждут, что он скажет дальше.

Он наклоняется ко мне. Руку не подаёт.

— Встань. Здесь ты не гостья. Ты моя, пока я не решу иначе.

Я встаю.

Ладони горят, колени горят, волосы висят на лице, и я убираю их рукой. Зал смотрит.

— Я просила показать мир, — говорю я. Голос сначала дрожит, потом перестаёт. — А не таскать меня по полу, как мешок.

Кто-то у меня за спиной коротко выдыхает.

— И зря ты думаешь, что я испугаюсь. Я звала тебя не от страха. Мне было всё равно, что со мной будет: хуже, чем было, уже не будет.

Он не двигается. Смотрит.

А потом из его рук начинает течь чёрное.

Я вижу, как на пальцах, на тыльной стороне ладони, проступает что-то тёмное и медленно стекает вниз. Не каплями: тяжёлыми, тянущимися нитями, как смола, которую долго держали на огне. Оно не блестит. Оно просто чёрное и плотное, и, дойдя до пола, не падает, а поднимается.

Не дымка и не тень. Смола, тягучая и живая, и она идёт ко мне по полу, как вода, которой велели течь вверх.

Она обхватывает меня за горло.

Холодная. Не ледяная, а как мокрый камень в тени: холодная и тяжёлая. Она ложится вокруг шеи кольцом и сжимается ровно настолько, чтобы я поняла: дышать теперь можно только с её разрешения.

И поднимает.

Я успеваю схватиться за неё руками, но пальцы входят в смолу и вязнут. Пол уходит из-под ног. Я ещё касаюсь его пальцами, потом перестаю.

Он высокий. Я не понимала насколько, пока не оказалась в воздухе. Наши глаза на одном уровне: две чёрные дыры, и в них ничего, ни меня, ни света.

— Вот так, — говорит он тихо. — Так мне нравится больше. Висишь, смотришь, слушаешь.

Смола на горле чуть отпускает, и я вдыхаю через силу, коротко, и в этом вдохе больше злости, чем страха.

— Смелая, — говорит он и наклоняет голову. — Люблю смелых. С ними потом интереснее.

— Я тебе не игрушка.

— Пока, — говорит он. — Пока не игрушка.

Он делает шаг назад и смотрит на меня прямо, и мне кажется, что он любуется: белое платье, кровь, босые ноги, смола у горла.

— Бояться меня не надо, — говорит он. — А слушаться надо.

Смола опускает меня на пол. Не ставит, а опускает, до самого камня, и разжимается, и я успеваю поймать себя ладонями, но всё равно сажусь на колени.

Я кашляю. Горло болит, как после ледяной воды.

Киран уже идёт, не оглядываясь. Он знает, что я пойду. И я иду: двери закрыты, за спиной толпа, у которой слишком много зубов, а он, кажется, единственный здесь, кто не собирается меня есть.

* * *

Столы стоят вдоль стен, длинные, чёрные, без скатертей, и на камне — блюда. Я не понимаю, что на них лежит. Что-то мясное, тёмное, с костями, которые не от животного, и рядом горы маленьких круглых штук, похожих на орехи; они шевелятся, когда кто-то задевает стол.

Есть я не хочу. И не только потому, что помню книжки. От столов пахнет мёдом, вином и мясом, и под этим лежит что-то ещё, тяжёлое, что едой не пахнет.

Между столами ходят слуги. Не фейри: у них нет ни рогов, ни когтей, лица гладкие, почти человеческие, и я не сразу понимаю, почему тогда от них так тянет холодом. Они несут кувшины и чаши и ни на кого не смотрят, и когда один проходит близко, я вижу, что пар у него изо рта не идёт, хотя в зале холодно, как в погребе.

Один останавливается передо мной. На подносе чаша с узким горлом, и в ней вино, густое, почти чёрное.

Я не беру.

Он стоит и ждёт.

— Бери, — говорит Киран, не оборачиваясь.

— Я не хочу.

— Здесь не спрашивают, чего ты хочешь. — Он останавливается. — Пей. Или скажи «нет» так, чтобы я поверил.

Я смотрю на чашу, потом на него.

— Нет.

Он смотрит долго. Потом кивает слуге, и тот уходит вместе с чашей.

— Хорошо, — говорит Киран. — Тогда танцуй.

— Что?

— Танцуй. — Он кивает в зал. — Ты хотела посмотреть. Смотри из середины.

Музыка не становится громче, но в неё вплетается что-то ещё, и танцующие расступаются, оставляя круг.

Ко мне идёт тот, с рогами. Тот самый, что держал меня за волосы. Он кланяется и протягивает руку, и я вижу, что пальцев у него шесть.

Я не беру руку.

— Она не танцует, — говорит Киран.

Рогатый опускает руку и отходит. У него дёргается плечо, и он идёт, не оборачиваясь.

Пары кружатся, и я смотрю на них, пока не начинает рябить в глазах. Они танцуют не друг с другом: у каждого рука поднята так, как берут чужую ладонь, и он ведёт кого-то, кого я не вижу.

Киран ведёт меня к дальнему концу зала, где стоит отдельный стол, и садится первым.

И как только он садится, садится весь зал. Разом, без знака, без слова: только что танцевали, и вот уже все за столами, а музыка играет для пустого круга.

Едят они молча и в блюда не смотрят. На другом конце стола кто-то смеётся, и смех идёт отдельно от еды.

Я остаюсь стоять.

— Садись, — говорит он и кивает на место напротив. — Есть не обязательно. Смотреть обязательно.

T

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.